

Ходынка

– Не понимаю этого упрямства. Зачем тебе не спать и идти «в народ», когда ты можешь спокойно ехать завтра с тегей Верой прямо в павильон. И все увидишь. Я ведь говорил тебе, что Бер мне обещал провести тебя. Да ты, как фрейлина, и имеешь право.

Так говорил известный всему высшему свету под прозвищем «Пижон» князь Павел Голицын своей двадцатитрехлетней дочери Александре, по признанному за ней прозвищу «Рина». Разговор этот происходил вечером 17 мая 1896 года, в Москве, накануне народного праздника коронации. Дело было в том, что Рина, красивая, сильная девушка, с характерным голицынским профилем, горбатым носом хищной птицы, уже пережила период увлечений светскими балами и была, или по крайней мере считала себя, передовой женщиной, и была народницей. Она была единственная дочь и любимица отца и делала, что хотела. Теперь ей взбрела мысль, как говорил отец, идти на народное гулянье с своим кузенком, не в полдень с двором, а вместе с народом, с дворником и помощником кучера, которые шли из их дома и собирались выходить рано утром.

– Да мне, папа, хочется не смотреть на народ, а быть с ним. Мне хочется видеть его отношение к молодому царю. Неужели нельзя хоть раз...

– Ну, делай как хочешь, я знаю твое упрямство.

– Не сердись, милый папа. Я тебе обещаю, что буду благоразумна, и Алек будет неотступно со мной.

Как ни странной и дикой казалась эта затея отцу, он не мог не согласиться.

– Разумеется, возьми, – отвечал он на ее вопрос, можно ли взять коляску. – Доедешь до Ходынки и пришлешь назад.

– Ну, так так.

Она подошла к нему. Он, по обычаю, перекрестил ее: она поцеловала его большую белую руку. И они разошлись.

В этот же вечер в квартире, сдававшейся известной Марьей Яковлевной рабочим с папиросной фабрики, шли также разговоры о завтрашнем гулянье. В квартире Емельяна Ягоднова сидели зашедшие к нему товарищи и сговаривались, когда выходить.

– В пору уж и не ложиться, а то, того гляди, проспишь, – говорил Яша, веселый малый, живший за перегородкой.

– Отчего не поспать, – отвечал Емельян. – С зарей выйдем. Так и ребята сказывали.

– Ну, спать так спать. Только уж ты, Семеныч, разбуди, коли что.

Семеныч Емельян обещал и сам достал из стола шелковые нитки, подвинул к себе лампу и занялся пришивкой оторванной пуговицы к летнему пальто. Окончив дело, приготовил лучшую одежду, выложив на лавку, вычистил сапоги, потом помолился, прочтя несколько молитв: «отче», «богородицу», значения которых он не понимал да и никогда не интересовался, и, сняв сапоги и портки, лег на примятый тюфячок скрипучей кровати.

«Отчего же? – думал он. – Бывает же людям счастье. Може, и точно попадется выигрышный билет. (Среди народа был слух, что, кроме подарков, будут раздавать еще и выигрышные билеты.) Уж что там десять тысяч. Хушь бы пятьсот рублей. То-то бы наделал делов: старикам бы послал, жену бы с места снял. А то какая жизнь врозь. Часы бы настоящие купил. Шубу бы себе и ей сделал. А то бьешься, бьешься – и все из нужды не выбьешься». И вот стало ему представляться, как он с женой идет по Александровскому саду, а тот самый городской, что летось его забрал за то, что он пьяный ругался, что этот городской уж не городской, а генерал, и генерал этот ему смеется и зовет в трактир орган слушать. И орган играет, и играет точно как часы бьют. И Семеныч просыпается и слышит, что часы шипят и бьют, и хозяйка, Марья

Яковлевна, за дверью кашляет, а в окне уже не так темно, как было вчера.

«Как бы не проспать».

Емельян встает, идет босыми ногами за перегородку, будит Яшу, одевается, маслит голову, причесывается, глядит в разбитое зеркальце.

«Ничего, хорошо. За то и девки любят. Да не хочу баловаться...»

Идет к хозяйке. Как вчера уговорено, берет в мешочек пирога, два яйца, ветчины, полбутылки водки, и, чуть занимается заря, они с Яшей выходят со двора и идут к Петровскому парку. Они не одни. И впереди идут, и сзади догоняют, и со всех сторон выходят и сходятся и мужчины, и женщины, и дети, все веселые и нарядные, на одну и ту же дорогу.

И вот дошли до Ходынского поля. А тут уж народ по всему полю чернеет. И из разных мест дым идет. Заря была холодная, и люди раздобываются сучьев, поленьев и раздувают костры.

Сошелся Емельян с товарищами, тоже костер развели, сели, достали закуски, вино. А тут и солнце

взошло, чистое, ясное. И весело стало. Играют песни, болтают, шутят, смеются, всему радуются, радости ожидают. Выпил Емельян с товарищами, закурил, и еще веселей стало.

Все были нарядны, но и среди нарядных рабочих и их жен заметны были богачи и купцы с женами и детьми, которые попадались промеж народа. Так заметна была Рина Голицына, когда она, радостная, сияющая от мысли, что она добилась своего и с народом, среди народа, празднует восшествие на престол обожаемого народом царя, ходила с братом Алеком между кострами.

– Проздравляю, барышня хорошая, – крикнул ей молодой фабричный, поднося ко рту стаканчик. – Не побрезгуй нашей хлеба-соли.

– Спасибо.

– Кушайте сами, – подсказал Алек, щеголяя своим знанием народных обычаев, и они прошли дальше.

По привычке всегда занимать первые места, они, пройдя по полю между народом, где становилось уж тесно (народу было так много, что, несмотря на ясное утро, над полем стоял густой туман от дыханий народа), они пошли прямо к павильону. Но полицейские не пустили их.

– И прекрасно. Пожалуйста, пойдем опять туда, – сказала Рина, и они опять вернулись к толпе.

– Вре, – отвечал Емельян, сидя с товарищами вокруг разложенной на бумаге закуски, на рассказ подошедшего знакомого фабричного о том, что выдают. – Вре.

– Я тебе сказываю. Не по закону, а выдают. Я сам видел. Несет и узелок и стакан.

– Известно, шельмы артельщики. Им что. Кому хотят, тому дают.

– Да это что же. Разве это можно противу закону?

– Вот те можно.

– Да идем, ребята. Чего смотреть на них.

Все встали. Емельян убрал свою бутылочку с оставшейся водкой и пошел вперед вместе с товарищами.

Не прошел он двадцати шагов, как народ стеснил так, что идти стало трудно.

– Чего лезешь?

– А ты чего лезешь?

– Что ж, ты один?

– Да буде.

– Батюшки, задавили, – послышался женский голос. Детский крик слышался с другой стороны.

– Ну тебя к матери...

– Да ты что? Али тебе одному нужно?

– Всю разберут. Ну, дай доберусь до них. Черти, дьяволы!

Это кричал Емельян и, напруживая здоровые, широкие плечи и растопыривая локти, раздвигал, как мог, и рвался вперед, хорошенько не зная зачем, – потому только, что все рвались и что ему казалось, что прорваться вперед непременно нужно. Сзади его, с обоих боков были люди, и все жали его, а впереди люди не двигались и не пускали вперед. И все что-то кричали, кричали, стонали, охали. Емельян молчал и, стиснув здоровые зубы и нахмутив брови, не унывал, не ослабевал и толкал передних, и хоть медленно, но двигался. Вдруг все всколыхнулось и после ровного движения шарахнулось вперед и в правую сторону. Емельян взглянул туда и увидел, как пролетело что-то одно, другое, третье и упало в толпу. Он не понял, что это такое, но близко около него чей-то голос закричал:

– Черти проклятые – в народ хвырять стали.

И там, куда летели мешочки с подарками, слышны были крики, хохот, плач и стоны.

Емельяна кто-то больно толкнул под бок. Он стал еще мрачнее и сердитее. Но не успел он опомниться от этой боли, как кто-то наступил ему на ногу. Пальто, его, повое пальто, зацепилось за что-то и разорвалось. В сердце ему вступила злоба, и он из всех сил стал напирать на передовых, толкая их перед собой. Но тут вдруг случилось что-то такое, чего он не мог понять. То он ничего не видал перед собой, кроме спин людских, а тут вдруг все, что было впереди, открылось ему. Он увидел палатки, те палатки, из которых должны были раздавать гостинцы. Он обрадовался, но радость его была только одну минуту, потому что тотчас же он понял, что открылось ему то, что было впереди, только потому, что они все подошли к валу и все передние, кто на ногах, кто котом, свалились в него, и сам он валится туда же, на людей, валится сам на людей, а на него валятся другие, задние. Тут в первый раз на него нашел страх. Он упал. Женщина в ковровом платке навалилась на него. Он стряхнул ее с себя, хотел вернуться, но сзади давили и не было сил. Он подался вперед, но ноги его ступали по мягкому – по людям. Его хватали за ноги и кричали. Он ничего не видел, не слышал и продирался вперед, ступая по людям.

– Братцы, часы возьмите, золотые! Братцы, выручите! – кричал человек подле него.

«Не до часов теперь», – подумал Емельян и стал выбираться на другую сторону вала. В душе его было два чувства, и оба мучительные: одно – страх за себя, за свою жизнь, другое – злоба против всех

этих ошалелых людей, которые давили его. А между тем та, с начала поставленная себе цель: дойти до палаток и получить мешок с гостинцами и в нем выигрышный билет, с самого начала поставленная им себе, влекла его.

Палатки уже были в виду, видны были артельщики, слышны были крики тех, которые успели дойти до палаток, слышен был и треск дощатых проходов, в которых спиралась передняя толпа. Емельян понатужился, и ему оставалось уж не больше двадцати шагов, когда он вдруг услышал под ногами, скорее промежду ног, детский крик и плач. Емельян взглянул под ноги: мальчик, простоволосый, в разорванной рубашонке, лежал навзничь и, не переставая голося, хватал его за ноги. Емельяну вдруг что-то вступило в сердце. Страх за себя прошел. Прошла и злоба к людям. Ему стало жалко мальчика. Он нагнулся, подхватил его под живот, но задние так наперли на него, что он чуть не упал, выпустил из рук мальчика, но тотчас же, напрягши все силы, опять подхватил его и вскинул себе на плечо. Напиравшие менее стали напирать, и Емельян понес мальчика.

– Давай его сюда, – крикнул шедший вплоть с Емельяном кучер и взял мальчика и поднял его выше толпы.

– Беги по народу.

И Емельян, оглядываясь, видел, как мальчик, то ныряя в народе, то поднимаясь над ним, по плечам и головам людей уходил все дальше и дальше.

Емельян продолжал двигаться. Нельзя было не двигаться, но теперь его уже не занимали подарки, ни то, чтобы дойти до палаток. Он думал об мальчишке, и о том, куда делся Яша, и о тех задавленных людях, которых он видел, когда проходил по валу. Добравшись до палатки, он получил мешочек и стакан, но это уже не радовало его. Порадовало его в первую минуту то, что здесь кончалась давка. Можно было дышать и двигаться. Но тут же, сейчас и эта радость прошла от того, что он увидел здесь. А увидел он женщину в полосатом разорванном платье, с растрепанными русыми волосами и в ботинках с пуговками. Она лежала навзничь; ноги в ботинках прямо торчали вверх. Одна рука лежала на траве, другая была, с сложенными пальцами, ниже груди. Лицо было не бледное, а с синевой белое, какое бывает только у мертвых. Эта женщина была первая задавлена насмерть и была выкинута сюда, за ограду, перед царским павильоном.

В то время когда Емельян увидел ее, над ней стояли два городских, и полицейский что-то приказывал. И тут же подъехали казаки, и начальник что-то приказал им, и они пустились на Емельяна и других людей, стоявших здесь, и погнали их назад в толпу. Емельян опять попал в толпу, опять давка, и давка еще худшая, чем прежде. Опять крики, стоны женщин, детей, опять одни люди топчут других, и не могут не топтать. Но у Емельяна уж не было теперь ни страха за себя, ни злобы к тем, кто давил его, было одно желание – уйти, избавиться, разобраться в том, что поднялось в душе, закурить и выпить. Ему страшно хотелось закурить и выпить. И он добился своего: вышел на простор и закурил и выпил.

Но не то было с Алеком и с Риной. Не ожидая ничего, они шли между сидящим кружками народом, разговаривая с женщинами, детьми, как вдруг народ весь ринулся к палаткам, когда прошел слух, что артельщики не по закону раздают гостинцы. Не успела Рина оглянуться, как она уже была оттерта от Алека и толпа понесла ее куда-то. Ужас охватил ее. Она старалась молчать, но не могла, и вскрикивала, прося пощады. Но пощады не было, ее давили все больше и больше, платье обрывали, шляпа слетела. Она не могла утверждать, но ей казалось, что с нее сорвали часы с цепочкой. Она была сильная девушка и могла бы еще держаться, но душевное состояние ее ужаса было мучительно, она не могла дышать. Оборванная, измятая, она кое-как держалась; но в тот час, когда казаки бросились на толпу, чтобы разогнать ее, она, Рина, отчаялась, и, как только отчаялась, ослабела, и с ней сделалось дурно. Она упала и ничего больше не помнила.

Когда она опомнилась, она лежала навзничь на траве. Какой-то человек, вроде мастерового, с бородкой, в разорванном пальто, сидел на корточках перед нею и брызгал ей в лицо водой. Когда она открыла глаза, человек этот перекрестился и выплюнул воду. Это был Емельян.

– Где я? Кто вы?

– На Ходынке. А я кто? Человек я. Тоже помяли и меня. Да наш брат всего вытерпит, – сказал Емельян.

– А это что? – Рина указала на деньги медные у себя на животе.

– А это, значит, так думал народ, что померла, так на похоронки. А я пригляделся: думаю – нет, жива. Стал отливать.

Рина оглянулась на себя и увидела, что она вся растерзанная и часть груди ее голая. Ей стало стыдно. Человек понял и закрыл ее.

– Ничего, барышня, жива будешь.

Подошел еще народ, городской. Рина приподнялась, и села, и объявила, чья она дочь и где живет. А Емельян пошел за извозчиком.

Народу уж собралось много, когда Емельян приехал на извозчике. Рина встала, ее хотели посадить, но она сама села. Ей только было стыдно за свою растерзанность.

– Ну, а братец-то где? – спрашивала одна из подошедших женщин у Рины.

– Не знаю. Не знаю, – с отчаянием проговорила Рина. (Приехав домой, Рина узнала, что Алек, когда началась давка, успел выбраться из толпы и вернулся домой без всякого повреждения.)

– Да вот он спас меня, – говорила Рина. – Если бы не он, не знаю, что бы было. Как вас зовут? – обратилась она к Емельяну.

– Меня-то? Что меня звать.

– Княжна ведь она, – подсказала ему одна из женщин, – бога-а-а-тая.

– Поедемте со мной к отцу. Он вас отблагодарит.

И вдруг у Емельяна на душе что-то поднялось такое сильное, что не променял бы на двухсоттысячный выигрыш.

– Чего еще. Нет, барышня, ступайте себе. Чего еще благодарить.

– Да нет же, я не буду спокойна.

– Прощай, барышня, с богом. Только пальто мою не увези.

И он улыбнулся такой белозубой, радостной улыбкой, которую Рина вспоминала как утешение в самые тяжелые минуты своей жизни.

И такое же еще большее радостное чувство, выносящее его из этой жизни, испытывал Емельян, когда вспоминал Ходынку и эту барышню и последний разговор с нею.